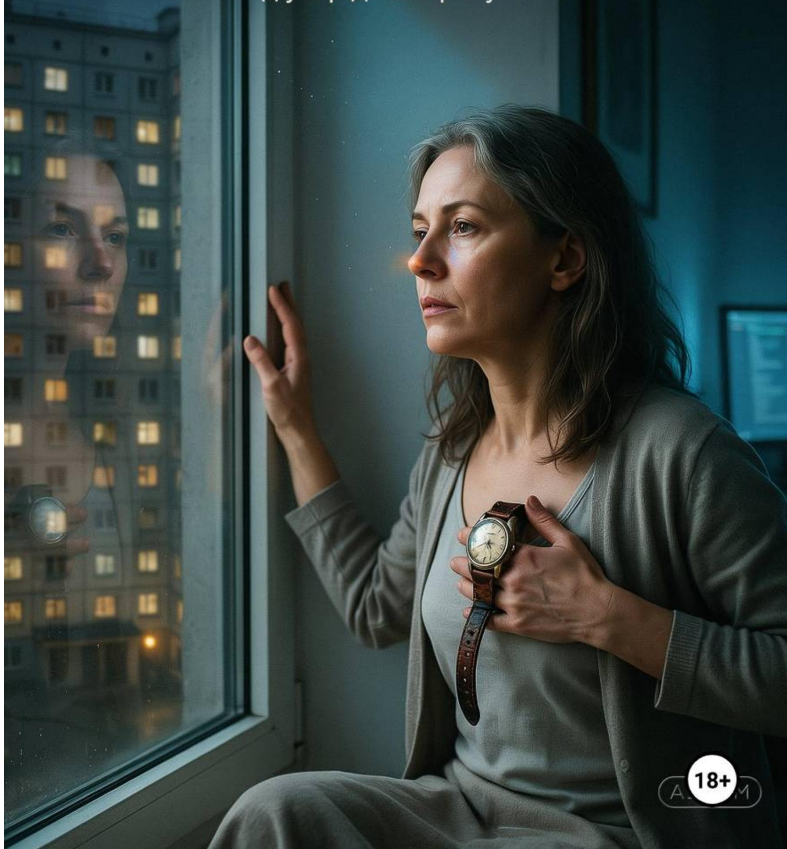


Бессонница

Эдуард Сероусов



18+

А.М.М.

Эдуард Сероусов

Бессонница

<https://litres.ru/74125102>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ада двадцать лет не спит ни одной ночи — её врождённая инсомния стоила ей мужа, разлучила с дочерью Лизой и сделала её одинокой женщиной у окна. Корпорация AEVUM выводит на рынок «Виджил» — микроб, обещающий отменить сон ради эпохи бесконечной эффективности. Лиза принимает его первой в классе — назло матери. Скоро бессонница перестает быть выбором: она передаётся, как насморк, и выжигает у людей саму способность спать. На пороге Ады появляется старый доктор Корин с новостью, способной перевернуть её жизнь. Это повесть о женщине, чьё «проклятие» оказывается единственной надеждой, о цене эффективности и о матерях, которые держат свет, пока другие падают.

Содержание

Часть первая	4
Часть вторая	17
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Эдуард Сероусов

Бессонница

Часть первая

[ВИДЖИЛ™. Рекламный ролик AEVUM. Хронометраж 0:60.]

Тёмный экран. Голос — мягкий, мужской, без нажима.

ВОСС: Посчитайте сами. Если вам тридцать, вы уже проспали десять лет. Десять лет в темноте. Их вам никто не вернёт.

Свет. Город на рассвете — но люди уже идут, ясноглазые, бодрые, будто и не было ночи.

ВОСС: Мы научились лечить почти всё. Мы продлили жизнь вдвое. И всё это время покорно отдавали треть её — ничему. Привычке древнее нас самих.

Крупно: капсула, светящаяся изнутри мягким молочным светом.

ВОСС: Виджил — не стимулятор. Не наркотик. Это ваш собственный обмен веществ, доведённый до совершенства. Микроб-комменсал, который снимает усталость у самого источника. Никакой расплаты. Никакого долга. Просто — время.

Слоган, белым по чёрному:

ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, ЧТОБЫ СПАТЬ

ТРЕТЬ ЕЁ.

ВОСС (*тише*): Просыпайтесь. И больше не засыпайте.
AEVUM.

За двадцать лет я выучила темноту своего города наизусть — так, как другие люди знают наизусть лица собственных детей. Своё-то я знала хуже. Лицо ребёнка меняется у тебя на глазах, а ночь остаётся ночью; в этом её милосердие и её жестокость.

В три часа я уже стояла у окна. Я всегда стояла у окна к трём — не потому что не могла лежать, а потому что лежать без сна двадцать лет учит тебя одной вещи: кровать предназначена для сна, и если сна нет, кровать становится клеткой, и лучше не давать ей этого знать. Я вставала. Я брала часы.

Часы были отцовские, механические, на потёртом ремешке, и я носила их с собой по квартире из комнаты в комнату все эти годы, как чётки. Я не смотрела, который час. Это важно понять про меня сразу, иначе ничего дальше не сложится: я не смотрела время. Время — для тех, кто спит, для кого ночь имеет длину, начало и конец. У моей ночи длины не было. Я держала часы в ладони ради тяжести и ради того, как они тикали — ровно, тупо, безразлично к тому, заснёт ли кто-нибудь в этом мире. Заводной механизм не нуждается в покое. В этом мы были родня.

Из окна моей кухни виден двор-колодец и семнадцать чу-

жих окон. Я знала их все. Через двор и вверх — окно человека, который читал до двух; я никогда не видела его самого, только лампу под зелёным абажуром и иногда тень руки, переворачивающей страницу, и в два лампа гасла, и я оставалась без собеседника. Угловое окно на четвёртом — там до глубокой ночи дрожал синий телевизионный свет, немой и нервный, как вода на дне. Окно сестры из седьмой квартиры — она работала в смену и возвращалась в пять сорок, и в пять сорок у неё загорался свет в прихожей, горел восемь минут, ровно столько, сколько нужно усталому человеку, чтобы снять обувь, выпить воды и упасть, — и гас. Это были мои спутники. Они не знали обо мне ничего. Я знала о них всё, что можно узнать о человеке по тому, когда он позволяет себе темноту.

Темнота двора была картой, и я была единственным её картографом, потому что только тот, кто не спит, видит, как один за другим гаснут чужие окна. Здоровый человек засыпает первым и пропускает спектакль. А я смотрела каждую ночь, двадцать лет, как город складывает себя, как стихает, как один за другим люди делают то, чего я не умела: отпускают себя в темноту и доверяют ей своё сознание до утра. Я завидовала им так ровно и так давно, что зависть стала просто фоном, как тиканье часов.

В ту ночь карта была неправильной.

Я заметила не сразу — неправильность приходит исподволь, как сквозняк. Сначала просто было слишком светло.

Окно человека с зелёной лампой горело, хотя давно переваляло за два, — горело ровным верхним светом, не лампой, будто там включили всё разом. Синий телевизор в углу не дрожал: экран стоял мёртвым прямоугольником, а свет в комнате был. Сестра из седьмой не вернулась в пять сорок, потому что — это дошло до меня с медленным холодом — она и не уходила; её окно горело всю ночь, я просто не сразу позволила себе это увидеть.

Я стояла и считала горящие окна, как считают пульс. Девять. Двенадцать. К четырём — четырнадцать из семнадцати, и те три тёмных были тёмными так, как бывают тёмными пустые квартиры, а не спящие.

Двадцать лет я была единственным бодрствующим человеком в этом дворе. Я знала это про себя так же твёрдо, как знала собственное имя. И вот теперь двор бодрствовал вместе со мной, весь, разом, — и это было не облегчение, не конец одиночества, которого я могла бы ждать. Это было что-то совершенно другое, чему у меня тогда ещё не было названия.

Я сжала часы. Они тикали. Где-то внизу, в светящемся доме напротив, кто-то стоял у своего окна и смотрел на меня — тёмный силуэт в освещённой раме, неподвижный, — и я знала, что он тоже не спит, и что он, в отличие от меня, не понимает почему.



Лиза вошла в кухню в четыре утра так, будто было четыре

дня.

Это первое, что я в ней увидела за последние месяцы и чему перестала находить объяснение: дочь, входящую в комнату на исходе ночи без той помятости, той полусонной неприязни к свету, с какими нормальный восемнадцатилетний человек встречает четыре утра. Она была собрана. Глаза слишком ясные. На запястье ровным зелёным горело умное кольцо — то самое, в которое она смотрела чаще, чем в моё лицо.

— Ты опять, — сказала она. Не вопрос. Лёгкое презрение, отполированное до автоматизма.

— Я всегда «опять», — сказала я. — Это называется моя жизнь.

Она открыла холодильник, постояла в его свете, ничего не взяла. Голода у неё, кажется, тоже больше не было.

— Знаешь, в чём твоя проблема. — Она прислонилась к столешнице, скрестила руки; кольцо мигнуло, считывая что-то. — Ты сделала из этого личность. Бессонница, бессонница. Будто это профессия. А это просто баг. Его чинят.

— Тебя починили?

— Меня апгрейднули. — Она улыбнулась, и улыбка была настоящей, и это было хуже всего. — У меня лишние восемь часов в сутках, мам. Восемь. Пока ты тут стоишь со своими часиками и страдаешь как поэт, я живу в полтора раза дольше тебя. Я прочитала за месяц больше, чем ты за год. Я не устаю. Совсем. Ты вообще можешь это представить — не уставать?

Я могла. Я только это и могла представить. Я двадцать лет не уставала так, чтобы уснуть, и знала об этом состоянии то, чего она не знала и не хотела знать: что усталость — не враг, а дом, и человек, у которого отняли усталость, отнят у самого себя и просто пока этого не заметил. Но я не сказала ей этого. Я давно научилась не говорить Лизе того, что знаю. Каждое моё знание она слышала как упрёк, а каждый упрёк — как ещё одно доказательство, что во всём, что развалилось в нашем доме, виновата я и моя сломанность.

В этом она была не совсем права. Вот что делало разговоры с ней такими тихими и такими бесконечными внутри меня.

Её отец ушёл, когда ей было одиннадцать. Я не стану рассказывать это как историю про дурного человека, потому что он не был дурным; он был обычным, а обычный человек не выдерживает дома, где по ночам кто-то не спит. Сначала он вставал ко мне. Потом перестал. Потом начал спать в гостиной, чтобы мои хождения не будили его, а потом ему стало невыносимо и это — слышать сквозь стену, как другой человек живёт, пока ты лишён сознания, как он бодрствует над твоим сном, будто сторож, будто укор. Он говорил, что я смотрю на него спящего. Он говорил это так, будто я делала что-то стыдное. Я и правда смотрела. Когда не спишь рядом со спящим, начинаешь его ненавидеть и любить одновременно, и он это чувствует даже во сне, я думаю. Он ушёл к женщине, которая спала. Я понимаю его лучше, чем Лиза

когда-нибудь поймёт меня.

Лиза решила, что я его выгнала своей ночью. В одиннадцать лет ребёнку нужен виноватый, иначе мир разваливается без причины, а это страшнее всего; и она выбрала меня, потому что я была рядом и потому что я действительно была причиной — не виной, но причиной, а различить эти две вещи трудно даже взрослому. С тех пор она строила себя как опровержение меня. И когда появился способ не спать вовсе, не спать гордо, не спать как сила, — она кинулась к нему, я думаю, не ради восьми часов. Ради того, чтобы перестать быть моей дочерью.

— Тебе бы тоже попробовать, — сказала она. — Хоть раз перестать быть мученицей. Восс прав. Жизнь слишком коротка.

И тут её повело.

Это длилось, наверное, секунду. Она потянулась поставить стакан, и рука вдруг пошла мимо — короткий промах, на палец в сторону, стакан стукнул о край мойки, не разбился. Лиза моргнула. На лице мелькнуло что-то, чему она сама удивилась, — не боль, а недоумение, будто пол под ногой оказался не там, где она его помнила. Кольцо на запястье коротко пискнуло и налилось из зелёного в жёлтое.

— Что это было, — сказала я. Тихо. Я двадцать лет читаю чужие тела по ночам; я увидела этот промах целиком, до дна.

— Ничего. — Она уже глушила кольцо, прижав пальцем, не глядя. — Дёрнулась. Засиделась за компом. — Она поста-

вила стакан ровно, демонстративно ровно. — Не делай такое лицо. У тебя всегда такое лицо, будто кто-то умер.

Жёлтый огонёк под её пальцем погас. Она вышла, и шаг был обычный, и я почти убедила себя, что мне показалось, — я, которая никогда ничего не путала в темноте.



Когда город спал, у меня были ночные люди.

Их было немного — горстка имён на форуме, который не менялся годами, для тех, кому ночь досталась как болезнь, а не как праздник. Мы не лечились друг у друга; от настоящей первичной инсомнии не лечатся, её носят. Мы просто были рядом в те часы, когда быть рядом больше негде. Кто-то писал в три, кто-то в полпятого, и всегда кто-то отвечал, потому что у нас не было синхронности сна, разделяющей нормальных людей по разным берегам суток. Мы все были на одном берегу. На тёмном.

Меня там знали. Не по имени — по тому, как я писала. За двадцать лет я научилась единственному, чему может научить бессонница: как пройти через ночь и не сойти с ума, как не воевать с ней, не вымаливать сон, не считать часы до утра, которое всё равно не принесёт облегчения. Я писала об этом спокойно, потому что давно отплакала своё, и моё спокойствие было нужно людям больше, чем любой совет. *Не борись с ночью*, — писала я кому-то, кто впервые провалился в неделю без сна и был в ужасе. *Ночь — это просто комната, где выключили того, кто притворялся, что всё под*

контролем. Тебе кажется, что ты не уснёшь никогда. Это правда и неправда одновременно. Просто будь здесь. Я здесь. Они называли меня — без иронии, что меня всегда трогало, — той, кто держит фонарь.

В ту ночь форум был другим.

Сначала я не поняла чем. Сообщений было больше обычного, и это бывало — в полнолуние, в жару, в дни плохих новостей. Но имена были чужие. Не наши. Новые, десятки новых, и писали они не так, как пишут инсомники.

Инсомник знает свою ночь. Он жалуется, он устал, он зол, но в его словах есть старая, привычная складка — складка человека, который уже не первый раз в этой комнате. А эти писали с другим ужасом. С ужасом человека, которого впервые в жизни заперли там, где он никогда не был.

Я не понимаю что происходит. Я всегда сплю. Я лёг и просто — не сплю. И вчера. И позавчера. Я не пил ничего, не нервничал, ничего. Тело хочет спать, я чувствую, что хочет, а оно не — оно как будто разучилось. Как будто кнопку вынули. Это нормально? Скажите кто-нибудь что это нормально.

Я смотрела на это слово — *кнопку вынули* — и где-то под рёбрами медленно поворачивался холод.

Их были десятки. Потом, пока я читала, стало больше. Все об одном: я всегда спал, я никогда этим не мучился, и вдруг — ничего, тело хочет и не может, как будто внутри щёлкнули выключателем. Молодые в основном. И почти все, я за-

метила, листовая, почти все упоминали мимоходом, между делом, как упоминают что-то заведомо хорошее: *я на виджиле полгода, я уже год не сплю по своей воле, и тут вдруг по-другому, думал, это просто виджил так работает, но это не он, это что-то не то.*

Почти все. Но не все.

Я остановилась на одном. Женщина, по тому, как она писала, немолодая. *Я не принимаю никакого виджила, — писала она. Я вообще против этой дряни, я старая, я сплю как убитая всю жизнь. И вот четвёртую ночь не сплю. Муж не спит. Соседка снизу стучала, спрашивала, не сплю ли я, — она тоже не спит. Никто из нас не пил эту таблетку. Что это? Это в воздухе?*

Я перечитала трижды.

И тогда, без предупреждения, как это бывает с памятью у тех, кто не спит и потому никогда толком не забывает, — поднялось двадцатилетней давности. Кабинет с жалюзи. Молодой ещё доктор, который изучал меня как редкий случай — мою ночь, мою кровь, мой странный, ни на что не похожий механизм. Он был взволнован тогда, по-научному, нехорошо взволнован. *У вас уникальная регуляция, — говорил он. Понимаете ли вы, насколько это редко?* А потом, в другой день, уже не взволнованный, а напуганный, он сказал мне фразу, которую я не вспоминала двадцать лет и которая теперь встала передо мной целиком, слово в слово: *Если кто-нибудь когда-нибудь научится делать с обычными людьми*

то, что природа сделала с вами, — он не будет понимать, что он делает. И это будет очень опасно.

Я не знала тогда, о чём он. Я была молода, мне было всё равно, я хотела только спать, и врачи были для меня людьми, которые не могли мне этого дать, и потому я их не слушала.

Я сидела перед светящимся экраном в четыре утра, в квартире, где у меня за стеной дочь только что промахнулась мимо стакана, и думала: вот оно. Двадцать лет я ждала, тёмным дном души, постыдно, чтобы мир хоть на день узнал, каково это. Чтобы они хоть раз не уснули, как не засыпала я, и поняли. Это было низкое чувство, и я его в себе знала.

Но это было не то. То, что приходило, не было моей ночью, розданной всем по справедливости. У моей ночи была длина и был дом. А у этого — *кнопку вынули* — дома не было. Это было что-то, у чего нет дна.

Я закрыла ноутбук. В тишине тикали отцовские часы. И впервые за двадцать лет тишина после трёх показалась мне не покоем, а затаённым дыханием.



Лизу скрутило перед самым рассветом.

Я не спала — я никогда не спала, — поэтому я была единственной в доме, кто это услышал: глухой звук из её комнаты, не падение, а как будто кто-то сел на пол не нарочно. Я была у её двери прежде, чем подумала.

Она сидела на полу у кровати, спиной к ней, и смотрела на свою руку. Просто на руку. Рука лежала на колене и мелко,

неостановимо дрожала, и Лиза смотрела на неё так, будто рука принадлежала не ей.

— Она не моя, — сказала Лиза. Голос был ровный, и от этой ровности всё во мне похолодело сильнее, чем от крика. — Мам. Я говорю ей перестать, а она не. Я не чувствую, где я её. Где команда заканчивается и начинается она.

— Я здесь, — сказала я и опустилась рядом на пол.

Кольцо на её запястье больше не было жёлтым. Оно мигало красным и показывало цифры, которых я не понимала, — пульс, какие-то стрелки, графики, ползущие в стороны, и сами цифры скакали, как будто прибор тоже потерял край, где кончается норма и начинается то, для чего у него нет шкалы. Лиза подняла руку — дрожащую, чужую, — и поднесла кольцо к лицу, и смотрела в эти цифры, как смотрят в лицо человеку, который должен всё объяснить.

— Тут написано, что я в порядке, — сказала она. Засмеялась коротко, не своим смехом. — Восстановление. Тут написано — оптимальное восстановление. — Она подняла на меня глаза, и в них наконец было то, чего я не видела у неё с одиннадцати лет: она была маленькой и ей было страшно. — Мам, почему оно говорит, что я отдыхаю?

Я взяла её чужую дрожащую руку в обе свои. Рука была горячая и не узнавала меня.

— Дай я подержу, — сказала я. — Я умею держать то, что не отпускает. Я двадцать лет только это и делаю.

Она не отняла руку. Впервые за очень долгое время Ли-

за не отняла у меня руку. Мы сидели на полу её комнаты, и за окном медленно, неохотно светало, и это было неправильное рассветание — не темнота уступала свету, а один свет, уличный, оранжевый, сменялся другим, серым, и нигде между ними не было ни секунды настоящей тьмы, в которую можно было бы упасть и отдохнуть.

Кольцо на её руке мигало красным и обещало ей покой, которого больше нигде в мире не было.

Часть вторая

[Расшифровка. Национальная горячая линия помощи при бессоннице. Звонок 2:14 ночи. Оператор — Д., абонент — мужчина, ок. 40 лет.]

Д.: ...дышите вместе со мной. Вдох на четыре. Хорошо. Вы сказали, четвёртые сутки?

АБОНЕНТ: Пятые. Я считаю по работе. Я водитель. Я не сплю пятые сутки, я не должен садиться за руль, но если я не сяду, меня уволят, а если я сяду — я уже один раз поймал себя, что еду и не помню последние десять километров, понимаете? Только я не спал. Я не задремал. Я всё время был в сознании. Просто меня где-то не было.

Д.: Вы принимали Виджил?

АБОНЕНТ: В том и дело, что нет! Жена принимала, она в восторге была, год не спала и порхала. А я нет. А теперь она в больнице, а я не сплю, и сын не спит, сыну девять, он не пил ничего, он ребёнок. Скажите мне, что это пройдёт.

Д.: ...

АБОНЕНТ: Скажите хоть что-нибудь.

Д.: Я на смене двадцать часов. Я сама не сплю шестые сутки. Я не знаю, что вам сказать. Мне очень жаль. Я не знаю.

[Конец записи. Линия отключена в 2:31.]

К утру это было уже не на форуме. Это было везде.

Я не из тех, кто живёт в новостях, — двадцать лет ночей отучают тебя верить, что мир снаружи имеет к тебе отношение; мир спит, а ты нет, между вами стекло. Но в то утро я включила всё, что включается, и держала на коленях телефон, и стекло треснуло.

Сначала это подавали бодро, почти весело — так подаются всё, чего ещё не боятся. *Странный феномен среди молодёжи. Поколение, которое разучилось спать. Эксперты успокаивают.* Эксперты успокаивали. Кто-то с гладким лицом объяснял, что это, вероятно, тревожность, экраны, образ жизни, что человеческий сон пластичен, что не стоит паниковать. Виджил в этих сюжетах поминали мельком, как поминают спонсора, осторожно: связь не доказана, корпорация AEVUM выражает обеспокоенность и готовность сотрудничать.

Я смотрела на это и узнавала складку. Ту самую складку, с которой двадцать лет назад врачи говорили мне, что я просто переутомлена. Складку человека, который называет успокоением своё собственное нежелание знать.

Я не могла больше сидеть с этим в комнате, и я сделала то, что делала в худшие свои ночи двадцать лет: оделась и пошла вниз, в круглосуточную аптеку на углу. Ночные люди знают свои редкие освещённые острова наизусть — аптеки, заправки, один киоск, — это места, куда можно прийти в три часа и не быть одной. Я ходила туда годами. Аптекарьша

знала меня в лицо и никогда не спрашивала, что со мной; она просто кивала, как кивают своим.

В то утро у аптеки стояла очередь.

Очереди в четыре утра не бывает. Это первое, чему учит ночь: в четыре утра мир пуст, он твой, в нём нет никого, кроме таких, как ты. А тут стояли двадцать человек, может, тридцать, и они не были такими, как я. Я узнала это сразу, по тому, как они стояли. Инсомник стоит терпеливо; он умеет ждать, ожидание — его профессия. А эти переминались, дёргались, оглядывались, в них была паника людей, выброшенных в чужую страну без карты. Молодая женщина впереди меня просила снотворное — любое, всё равно какое, сколько дадут, — и не могла договорить фразу до конца, теряла её на середине и начинала снова, и аптекарша, серая, с провалившимися глазами, отвечала ей, что снотворного нет, что его не привозили третий день, что оно всё равно не помогает — она пробовала на себе. Полки за её спиной, где раньше стояли мелатонин, и валериана, и вся та беспомощная аптека сна, которую я перепробовала за двадцать лет, — полки были пустые. Подчищенные до железа.

Мужчина у двери стоял неподвижно и смотрел в одну точку, и губы у него шевелились, и я подумала сначала, что он молится, а потом поняла, что он считает. Считает, как потом будет считать старик в клинике, как считают все, у кого внутри кончился край и осталось только одно бесконечное действие, за которое можно держаться. Я постояла в этой оче-

реди минуту, может, две, среди людей, разучившихся ждать, в свете, который раньше был моим убежищем, а стал чужой больницей под открытым небом, — и ушла, ничего не купив. Покупать было нечего. Сна не было на полках. Сна больше нигде не было.

Я вернулась домой, и к полудню сюжеты по телевизору перестали быть весёлыми.

Перестали они быть весёлыми не из-за цифр — цифры были ещё ничего, тысячи, не миллионы. Они перестали быть весёлыми из-за одного слова, которое сначала проскользнуло где-то в углу ленты, потом всплыло крупнее, потом встало в заголовок и больше уже не уходило. *Незаразившиеся*. Нет — не так его подали. Подали мягче, и от мягкости было страшнее. *Случаи среди не принимавших препарат*.

Та женщина с форума. Её муж. Соседка снизу. Водитель с горячей линии и его девятилетний сын. Молодая женщина из очереди, не пившая, я была почти уверена, ничего. Это были не отдельные странности. Это была линия, и линия имела направление, и направление было — наружу, от тех, кто выбрал, к тем, кто не выбирал.

Я всё ещё не давала себе поверить. Я ловила себя на постыдной, упрямой мысли — *это просто ночи, это просто мир наконец меня догоняет* — и эта мысль была так удобна, так точно сшита по моей двадцатилетней обиде, что я почти могла в ней жить. Если весь мир перестанет спать, то я не сломана. Я просто была первой. Авангардом. В этой мысли

было низкое тепло, и я грелась о неё, и стыдилась, и грелась.

А потом в углу одного из сюжетов мелькнул график.

Просто график, на полсекунды, за спиной у диктора, — две кривые. Одна пологая, привычная: рост случаев среди пользователей. А вторая — вторая загибалась вверх с того дня, как появились незаразившиеся, и загибалась она не как привычка и не как мода, а так, как загибается только одно на свете. Так растёт то, что передаётся. Я двадцать лет читала про сон всё, что могла найти, и я знала эту форму. Эту форму имеет не привычка. Эту форму имеет зараза.

И я наконец поняла, на что смотрю. Это было не моё, розданное всем. У моей бессонницы был механизм, дом, дно. А это не имело дна, потому что это вообще не было бессонницей. Бессонница — это когда не можешь уснуть. А тут у людей вынимали саму способность. Кнопку. И эта вынутая кнопка — передавалась, как насморк, от человека к человеку, по воздуху, как всё, что живёт в нас и на нас, и не разбирала, кто верил Воссу, а кто нет.

Я положила телефон экраном вниз. В соседней комнате было очень тихо. Тишина из комнаты Лизы была теперь хуже любого звука.



К вечеру Лиза перестала притворяться.

Это было самое страшное в тот день — не симптомы даже, а то, как она сдалась. Двадцать лет — да всю свою жизнь — Лиза держала оборону, и оборона была её осанкой, её по-

ходкой, её голосом. А теперь оборона осыпалась, и я впервые увидела, сколько сил она на неё тратила всё это время, потому что без обороны от неё почти ничего не осталось.

Она лежала, и не лежать она не могла, и спать она не могла, и от этого зазора — тело сложено для сна, а сна нет — она медленно сходила с ума у меня на глазах. Я знала этот зазор. Я жила в нём двадцать лет. Но я входила в него постепенно, год за годом, я выстроила в нём дом. А её бросили туда сразу, без дома, без стен, и она была там как человек в открытом космосе без скафандра — секунды, в которые тело понимает, что воздуха нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.